

Елена Акимова

## «Ковá! Как много в этом звуке...»

(или Ностальгические заметки уже взрослого археолога)

— Вы уже пишете мемуары, сударь?

— О да!—и он с готовностью начал выуживать из карманов квитанции, кассовые чеки, избирательные листовки и автобусные билеты, обратная сторона которых была исписана лихорадочным почерком.

— И что же вы намереваетесь со всем этим делать?!

— Ну... В принципе, это можно подклеить...

О. де Грюссак.

Из неоткрытого наследия

### Очень лирическое вступление

Всё это было в те давние-давние времена, когда плотина у юного посёлка Кординск существовала только в эскизах, а население Кежемского и Богучанского районов, пока ещё не терзаемое печальными перспективами, продолжало жить своей тихой патриархальной жизнью. Деревянные дома из бруса, обшитые крашеными досками, соседствовали с массивными бревенчатыми избами, конструкция которых предполагала максимальную закрытость внутренней инфраструктуры как со всех четырёх сторон, так и с воздуха. К востоку—вверх по течению Ангары—удельный вес изб увеличивался, олицетворяя преобладание коренного мочконского населения, к западу—по направлению к цивилизации—тон задавали более современные постройки, срубленные уже по канонам двадцатого века.

Вся жизнь местного населения была сосредоточена вокруг Ангары. Деревянные плоскодонки плотно устилали берега, а рыболовные сети развесистыми шторами сушились во дворах и огородах. Вдрызг пьяный мужик, неспособный сделать даже пару шагов по твёрдой поверхности, немедленно обретал способность к координации, будучи уложен в лодку и прикреплен правой рукой к румпелю. В то время как туристы на «Прогрессах» и «Казанках» героически штурмовали по судовому ходу бурлящие шиверы, местные жители медитировали с удочками в зоне их видимости на тихо-мирно качающихся между камней деревянных лодках.

Ангарский водный транспорт состоял тогда из бело-чёрных «Ангар», с небрежным усилием

бульдозера толкающих гружёные баржи, матово-серые «эмбэвэшки», ватагами тянущие и писающие бесконечные связки плотов, да юркие «кээски», всегда принадлежащие каким-то суровым ведомствам, хотя и периодически использовавшиеся в качестве «подвернувшегося левака». Ещё между Кежмой и Богучанами курсировали две «Зари», подчинившие всю местную жизнь своему весьма ненадёжному расписанию. Они время от времени ломались и чинились, или арендовывались под «спецрейс», или просто стояли на приколе, когда реку заволакивало туманом или дымом горящей тайги.

Ангара стремилась на запад, бурля и взметаясь над порогами и шиверами. Узкий судовой ход отмечался не бакенами с лампочками, а вешками, окрашенными в белый или красный цвета. Чтобы не перепутать в ночное время, на красные вешки набивали резиновые треугольники или подшвы от сапог. Задачей любого лодочного экипажа в сумерках являлось именно «высматривание» вешек, чтобы не перепутать право и лево и в конечном счёте не залететь на камни. Раз в несколько лет судовой ход расширяли, проводя на шиверах взрывные работы, что становилось подлинным праздником как для вечно голодных чаек, так и для местного населения, эскадрами сплывавшегося под шиверу подбирать оглоушенных хариусов.

Некоторым обременением для местных являлись тогда ещё редкие зоны, ограждённые колючей проволокой, с солдатами на вышках, да многочисленные «сотрудники» химлесхоза, набравшиеся, как правило, из отсидевших своё постояльцев этих самых зон. «Химики» собирали в тайге живицу—особую стратегическую смолу—и неотвратимо спивались. Помимо водки и «Агдама», которыми были завалены поселковые магазины, широко использовались и менее питательные напитки, в том числе и антикомарина «Дэта». Весь летний гнусовый сезон её самоотверженно экономили, чтобы с наступлением морозов торжественно произвести операцию по очистке. «Дэту» сливали на замороженный железный лом, в результате чего вся химическая гадость должна была прилипнуть к железу, а очищенный спирт—стекать в подставленный тазик. В отличие от сезонной

«Дэты», круглогодично употреблялся чифир: пачка индийского чая со слонем, запаренная в консервной банке и вырубавшая гурманов наповал. Вопреки сегодняшней Википедии, слово «чифир» употреблялось именно в мужском роде, склоняясь по падежам согласно соответствующим правилам родного языка.

Как раз тогда, на рубеже семидесятых-восьмидесятых годов, в пространстве между Кежмой и Богучанами мигрировала археологическая экспедиция Красноярского пединститута вместе с лагерем школьников «Юный археолог» под общим и всеохватным руководством Николая Ивановича Дроздова. Отработав Чадобец, Пашино, ткнувшись в Окуневку, пометив ещё с десяток перспективных мест, экспедиция и лагерь стационарно устроились в устье Ковы.

К этому времени деревня Кова была заброшена, а последние её жители перебрались в Болтурино и Косой Бык. Старые огороды заросли непролазным бурьяном с островками недозадавленной малины, а покосившиеся, но ещё уцелевшие в борьбе за топливо дома становились укрытием для студентов-археологов в холодном августе после отъезда основного состава экспедиции и лагеря. Тогда снимались, наконец, потрёпанные палатки, весь скарб перетаскивался под крышу, пол застилался тощими спальниками, и великовозрастные подростки, прожариваемые днём и околевающие ночью, в полной мере вкушали радость нежданного комфорта.

Только три дома на Кове оставались занятыми. В самом большом жили дед и бабка Бурмакины, державшие своё хозяйство, внуков и целую свору собак. Все летние месяцы они занимали круговую оборону от потенциально опасных городских недорослей, которые готовы были повыдирать с грядок лук и добраться до малины. Впрочем, раз в сезон Бурмакин просил пару-тройку парней на покос куда-то «на острова», обещая накормить, напоить и вернуть откуда взял. Желающие всегда находились.

В другом домике жила тётя Поля, выпекавшая хлеб для «химиков» и при необходимости представлявшая им крышу над головой. В третьем — вечно пьяная тётка Эльза с непонятной функцией. У неё тоже периодически останавливались заезжие собиратели живицы, с охотой пользуясь гостеприимством хозяйки и её маленькой тёмной банькой. В какую-то зиму в этой самой баньке постояльцы Эльзу и убили, а циничные студенты весь очередной полевой сезон вдохновенно вызывали «призрак тётки Эльзы» фонариком и белым вкладышем от спальника.

Ещё на самом высоком месте с видом на Ангару стояла бакенская размером со сторожку, в которой, сменяя друг друга, попеременно жили то дядя Миша, то дядя Толя, смотревшие за вешками

и регулярно выручавшие археологов с их вечно глохнувшими моторами.

Кова тех лет была невероятно, ошеломляюще красива. Огромное ровное плато у подножия горы Седло в июле превращалось в ромашковый луг. Ромашки в стеклянных банках от борщевой заправки украшали все обеденные столы; ромашками обсыпали палатки возлюбленных, внося ревность и разборки в женский коллектив экспедиции; из ромашек плели венки, чтобы на посвящение в археологи надеть их на деревянные головы вырубленных из плавника экспедиционных идолов; наконец, ромашки становились объектом народного творчества, воспеваясь как в душевных частушках, так и во вполне приличных произведениях искусства вдохновлённых ими поэтов.

Сама речка Кова, мчащаяся по камням и сбивающая с ног, врывалась оранжевым полукругом в синь Ангары и растворялась в ней вместе со звоном переката и воплями ненасытных чаек, унося всё это дальше и дальше на запад, к Енисею, и потом куда-то совсем далеко — к самому Северному Ледовитому океану... А бесконечная Кова звенела и пела, блистала и сверкала, завораживая и влюбляя в себя очарованных горожан... Нет, не потому мы начинали заниматься археологией, что страстно увлекались проблемой первоначального заселения Северной Азии, ковыряя глину на отведённом квадрате раскопа. Нет! Ошалевшие от цвета, звуков и запахов, мы понимали, что вернуться сюда можем только с экспедицией, а курсовая по археологии — это всего лишь пропуск, всего лишь плата за счастье... Впрочем, это я о себе...

В общем, всё это происходило именно в те давние-давние времена, когда Ангара ещё была той самой Ангарой, а мы — двадцатилетними обалдуями...

## Про Клаву и «айболитов»

На медиков нам никогда не везло. По инструкции в детском лагере обязан быть медицинский работник хотя бы фельдшерской квалификации. Шеф приспособился добывать фельдшеров из студентов старших курсов мединститута, которых к нам направлял их комсомольский комитет. Я каждый год сама выстукивала одним пальцем на машинке стандартный текст о том, что «просим выделить», «в качестве практики» и так далее. Один год, впрочем, девочка была приятная. Она честно щупала лбы, присутствовала при купаниях и давала слабительные или закрепляющие в зависимости от потребности. Но как-то в лагерь неожиданно приехала комиссия из Кежмы и не обнаружила медицинского работника с детьми на раскопе, где та, согласно инструкции, должна была сидеть на бровке, обмундированная и оснащённая. Бедную Наташу отловили на речке со свежевывытыми

волосами и устроили скандал с последствиями, в результате чего на следующий год взнуданный комитет комсомола мединститута постарался подобрать нам уже безупречную кандидатуру.

Кандидатуру звали Клавой. Она появилась на Кове вместе со школьниками, мало отлича-ясь от них ростом, весом и причёской. Мы были несколько удивлены, когда к костру подошла суровая девочка с косой (то есть со светло-русой косой) и потребовала показать «санузел». Мы показали направление. Туалетик был новенький, свеженький, почти не опробованный и вполне мог быть ещё продемонстрирован любой комиссии. Мгновенно забыв о страждущей пионерке, мы вздрогнули, когда за спиной раздался тот же голос: — А почему он не засыпан хлоркой?

Это и была Клава.

В ближайшие же дни хлоркой было засыпано всё: в туалете лежали сугробы, белые следы тянулись по дорожке, у «пищблока» стояли какие-то ёмкости с хлорным раствором, и в чистейшем воздухе Ковы был растворён этот специфический аромат. Похоже, что такого количества хлорки у нас просто не могло тогда быть, и это были лич-ные запасы Клавы.

До какого-то изолированного «медпункта» мы тогда ещё не доросли, главным образом, из-за отсутствия лишних палаток, да и особой нужды не было, поскольку традиционные болезни ограничивались ушибами и коварной покусанно-стью. Иногда к ним прибавлялись простуды и расстройства желудка, что и позволяло нашим медикам чувствовать себя позарез необходимыми. Однако профессиональные познания Клавы, её диагностические способности требовали выхода, и, к изумлению окружающих, рядовые простуды обретали статус пневмоний, крупов и дифтерий, а желудочные проблемы связывались почти исклю-чительно с ущемлённой грыжей. Апофеозом стала сцена, когда суровая Клава, помяв живот тринадцатилетней пионерке, с глубокой душевной оза-боченностью объяснила заинтригованному жожа-тому, что у девочки внематочная беременность. После этого случая мы предпочли отказаться от Клавиных услуг. Естественно, что этот процесс происходил бурно: с жалобами, скандалами и анекдотами. В итоге диагноз выставлял теперь вожатский консилиум, а Клаве была отведена роль хранителя бинтов и таблеток. В обиходе появилась крылатая фраза: «Клава, я балдю!» — отражавшая всю гамму чувств от недоумения до восторга. Клава переживала всё это с эмоциональностью монумента.

Где-то в конце июля, в самом конце практики, происходило студенческое посвящение в археоло-ги. Дни тогда были довольно холодные, а тра-диционный сценарий предполагал минималь-ную одетость и обильные водные процедуры.

Придумать что-то новое у нас ума не хватило, и пятьдесят изукрашенных ребят в плавках и ку-пальниках с оборочками из папоротников скакали вокруг идиолов, обливались водой и стыли на ветру. Поразительно, как вообще это закончилось столь «малой кровью»... И вот дня через два, глубокой ночью, когда последняя группа уже собиралась разбредаться спать, один из парней-первокурс-ников, потеряв сознание, свалился в затухающий костёр. Когда сонную Клаву нервно допихали до студентов, его уже занесли в палатку, уложили на спальники и почти привели в чувство. Клава застыла над ним в состоянии глубокой интеллек-туальной озабоченности, пытаясь разглядеть в полумраке палатки заученные диагностические признаки. К сожалению, его поза мало напоминала столбняк, а с другими картинками в мединституте, видимо, было плоховато. После насыщенной мысл-ной паузы она с надеждой произнесла:

— Если ноги согнуть не сможет — значит, менингит.

Лёня судорожно дёрнулся и с усилием под-тянул ноги.

— Значит, не менингит...

Уловив в Клавином голосе разочарование, её немедленно отправили к себе. Отдыхать от пере-живаний.

Впрочем, уже к середине сезона Клава была настолько задвинута на третий план, что тот её подконвойный визит к больному объяснялся только нашей сиюминутной растерянностью. Теоретически можно было бы двигаться и в дру-гом направлении, но буриданов осёл сдох бы в состоянии такого выбора.

Как раз в то время в студенческом лагере обос-новались ещё двое студентов-медиков. Появились они вполне стандартным путём. Как-то заняла проходящая «Заря», кто-то подогнал лодку, и на берег сошли две незнакомые личности с рюкза-ками, сияющие до лучезарности. В общем: «Я ваша тётя, я приехала из Киева, я буду у вас жить!» Они привезли привет шефу от его давнего зна-комого и жаждали скорее влиться в коллектив, чтобы приступить, наконец, к активному отдыху на лоне природы. Работа на раскопе в их планы, естественно, не входила. Они были так уверены в распростёртости объятий встречающих на берегу, что кислое лицо шефа восприняли как признак хронического гастрита, обострившегося на кон-сервах. Ликующие и искрящиеся, они заволокли свои рюкзаки наверх и поставили себе палатку в центре студенческого лагеря. Тогда они не знали, что их ждёт...

В тот год на Кове собралась довольно солид-ная группа старшего поколения, самообозвав-шаяся «пятой колонной». Состав её был весьма пёстрый (старшекурсники, выпускники, друзья выпускников), и смысл существования заклю-чался в расцвечивании жизни всеми возможными

красками. Уже в начале сезона то у студентов, то у школьников по ночам исчезала вся посуда или обувь, а вежливая фраза над головами спящих: «Вам колышки нужны?» — при соответствующем варианте ответа заканчивалась или рухнувшим тентом, или бревном, услужливо пропихнутым в палатку. Вскоре «пятая колонна» нашла ещё одно великолепное развлечение: надо было (предварительно разработав операцию в деталях — с картами и флажками) отвлечь внимание дежурных пионеров и, перемежая движение по-пластунски с карачками, проникнуть на «вражескую» территорию и уволочь куда-нибудь в крапиву или в заброшенный шурф пионерского идола. После пары таких упражнений великовозрастных мужиков взбесившиеся дети объявили войну студентам, у которых этих идолов было целых три... Костер войны запыхал, а скромняги из «пятой колонны» недоумевающе пожимали плечами и негодовали на времена и нравы. У детей появились термин «покос» и лозунг «коси скубентов!» (почему-то именно с буквой «б» в середине), а экспедиционные ночи потеряли свой прежний покой и лиризм. Теперь главной задачей ночных постов стало бдение не за лодками, которые теоретически могли спереть местные «химики», а за пионерами, чьи набеги приводили к пропаже посуды, одежды, порушенным и потоптанным палаткам.

Появление двух «айболитов» весьма заинтересовало «пятую колонну» и явно добавило красок в эмоциональный фон экспедиции. Нива была непаяная и обещала неплохие перспективы. Вплотную «вопросом» занялся Сергей Бухарин, здоровущий второкурсник, уже поработавший и отслуживший в армии. При росте под два метра он обладал фактурным лицом и лохматостью в стиле Бетховена. Вскоре «айболитам» объяснили, что Серёга «тот ещё мужик» и вообще не студент никакой, а отбывал своё тут же, на Ангаре, что, впрочем, «и по роже выдать». Серёга своими внешними данными пользовался с вдохновением, и жизнь для «айболитов» очень скоро потеряла цвет и аромат. После пары стычек и психологической обработки они воспринимали его как зависшие на хрупкой ветке коты зевающую кавказскую овчарку.

Однажды ночью Серёга с Костей Закуткиным, одним из «колонистов», на четвереньках, чертыхаясь, цепляясь за кол и ноги хозяев, ввалились к ним в палатку. Перепуганные «айболиты» забились в угол, ожидая насилия в самых изуверских формах. Однако события разворачивались иначе. — Слушайте, мужики, тут такое дело... В общем, он сам полез, я ж то никак... А он-то, чтоб его... Ну я же не мог, если он вот прямо так прёт... Ну, мужики, вон он там... Кишки у него наружу. Подохнет же, чтоб его... Пойдите посмотрите, может, можно ещё чего...

— К-куда пойти?..

— Да вон там. Я его на крыльце оставил. Подохнет же, мужики! Мне чё, ещё по разу в зону сходить?!

На роже Бухарина были тоска и полное миролюбие. Ужас кога перед овчаркой сменился у «айболитов» ужасом понимания ситуации: на крыльце домика «пятой колонны», в пяти метрах от них, лежит зарезанный мужик с кишками наружу, а их зовут оказать ему первую медицинскую помощь! — А что ж там сделаешь?! Там ведь ничего уже не сделаешь...

— Но перевязать-то ты его можешь, гад! Кишки вправить!

— Так это ты и сам сделаешь. Вот так... — и один из «айболитов» сделал руками движение, хорошо понятное тем, кто имел дело с квашнёй, только что вываленной на стол.

Бухарин оторопел. У него был свой сценарий розыгрыша, и подобный вариант развития событий учтён им не был. Он побагровел от ярости, представив себе, как мифический мужик с разрезанным животом исходит кровью в двух шагах от этих...

— Ах вы, с...! Да я вас сам сейчас, своими руками выпотрошу, медики с...!

Сообразительный Костя кинулся к Бухарину:

— Серёга, не надо! Не тронь их!

— Пусти-и!!!

— Не тронь!! Посадят! Мало тебе одного срока?!

— Пусти!!! Я их...

Они вдохновенно бились с объятиях друг друга, цепляясь за рукава, воротник, орали и рычали, умудряясь одновременно трясти и пинать весьма просторную четырёхместку. Если бы в ней не было пола, «айболиты» выкатились бы из-под неё, как русалки, не вылезая из спальников.

Наконец Косте «удалось» выпихнуть матерящегося Бухарина из палатки. Обезумевшие «айболиты» ещё несколько минут слышали громкое сопение, хрипы, звуки волочения чего-то тяжёлого (тела!), шипящие реплики типа «держи ему ноги», «подавай на меня», перемежающиеся с матом. Было ясно, что сговорившиеся преступник и соучастник в темноте припрятывают ещё тёплый труп того мужика (конечно же, «химика» или вообще зэка). И никто! Никто ничего не знает. Кроме них...

Ранним утром они с рюкзаками, с лихорадочно увязанной и утрамбованной палаткой отлавливали шефа с просьбой вывезти их на проходящую «Зарю» в связи с резко изменившимися личными планами. Тот, изобразив недоумение, сожаление и понимание одновременно, с удовольствием спихнул их в заданном направлении.

Клава уехала более стандартно — с пионерами после окончания смены, воспринимаемая исключительно в качестве багажа с ногами. За два дня до этого происходило закрытие лагеря, и беснующийся с горя дети завалили собственного идола, уже раскочанного во время всех вышеуказанных

военных действий. Бревно высотой два с лишним метра и диаметром около полуметра рухнуло на спину Коли Идатчикова, а скатившись с неё, шархнуло по голове сидевшую на корточках Надю Чистякову. Клава в это время спала у себя и только конвульсивно махнула рукой в сторону ящичка с аптечкой, когда перепуганные девчонки примчались к ней за бинтом и йодом.

В общем, не везло нам на медиков... Никогда не везло.

## Про Боря, экскаватор и всякое вкусное

Боря появился на Кове летом 1979 года вместе со своей практикой. Курс был довольно пёстрый, и Боря относился к «старшей возрастной категории», то есть имел более насыщенную биографию, чем большинство из нас. Во всяком случае, женат он тогда уже был. По национальности он считался то ли греческим азербайджанцем, то ли азербайджанским греком, имел крючковатый нос, чёрные глаза и говорил с акцентом. Акцентом настолько характерным, что мне всегда казалось, что он сейчас скажет: «Слушай, дорогой!» — и, по правде, я до сих пор удивляюсь, почему он так не говорил. Ещё у него абсолютно отсутствовало чувство юмора. Вернее, присутствовало, но в варианте, когда торгом в физиономию, причём эта физиономия не должна быть Бориной.

В первый же вечер он устроил мне скандал по поводу совершенно неожиданному: — Почему ты не предупредила, что здесь нет туалетной бумаги?!

Я немного сконфузилась от самой темы обсуждения и от его обиженно-негодующего тона. Туалетная бумага в те годы была таким же символом достатка и близости к торгующим верхам, как колбаса, — за ней выстраивались бешеные очереди, её закупали на год вперёд и пользовались по праздникам. Понятно, что мысль об этом дефиците мне просто не могла прийти в голову.

На следующий день практику впервые повели на раскоп. Увидев огромные осыпавшиеся ямы, Боря кинулся к шефу, вдохновенно декламировавшему с отвала о наших планах и перспективах.

— Николай Иванович, вы что — издеваетесь над нами? Вы что, экскаватор найти не можете?! Нет, вы только скажите: вам нужен экскаватор или нет?

Шеф, которому уже давно осточертели все эти вопросы про экскаваторы и бульдозеры, имел в запасе пару штампованных ответов про труд археолога, не поддающийся механизации, но здесь он даже оторопел. Боря говорил с таким возмущением, удивлением и с такой невероятной наглостью, будто экскаватор стоял у него в кустах и требовалось лишь узнать, куда его подгонять! Учитывая, что мы жили в восемнадцати километрах

от ближайшего жилья и километрах в тридцати от первого экскаватора, — это впечатляло.

Дня через два по Ангаре на глазах у всего состава экспедиции прошла самоходка с «Беларусями». Шок был настолько силён, что, когда мы увидели, как баржа проходит мимо и явно не собирается приставать к берегу, мы просто не поняли такой несогласованности в действиях.

Может быть, именно тогда, если не раньше, шеф согласился на Борино предложение и с облегчением переложил на него всё заведование хозяйством экспедиции. По Бориным понятиям, перекидывать лопатами землю ради мифической цели было невозможно. Бессмысленную же работу Боря делать физически не умел. Теперь каждое утро он седлал «Прогресс» и отправлялся в Болтурино с огромными полосатыми матрасовками за хлебом и другими продуктами. Все годы до Бори эту работу приходилось делать людям, явно лишённым воображения. Ещё в 1978-м мы периодически сидели без хлеба, ели рожки с минимальным количеством тушёнки и суп, представлявший собой растворённую в кипящей воде борщевую заправку. Картошка на Ангаре стояла бешеные деньги, и её мы практически не видели. Сейчас жизнь изменилась самым коренным образом. Имея на руках те же куцые суммы денег, что и его предшественники, Боря стал добывать какие-то невысказанные деликатесы во вполне осязаемом количестве. Через неделю Бориса Демьяновича знало всё Болтурино, и одно его имя раскрывало двери всех магазинных подсобок. Через две — перед ним склонилась Кежда, и мы перестали драться за пустые банки из-под стужённого молока, а дежурные перестали растирать тушёнку до волокон. Его можно было поймать в любое время суток, в любом месте и спросить: «А сколько у нас осталось чая?» (варианты: сахара? спичек? тушёнки?) — и получить мгновенный ответ: «Тридцать две пачки» (девятнадцать килограммов, двадцать три коробок, сто сорок пять банок). Мы удивлялись ему, восторгались им, молились на него. Он смущённо улыбался.

Когда практика закончилась, мы упросили Боря задержаться на неделю, чтобы помочь пристроить имущество «Юного археолога». Вообще-то Боря, как и мы все, к лагерю не имел никакого отношения, но положение было безвыходным, и выбора у нас не было.

Неделю мы собирали, мыли, чистили и таскали всевозможную мягкую и жёсткую рухлядь на берег, в полуразвалившуюся избу, ожидая хоть какого-либо транспорта. Когда всё это осточертело до истерики, Боря, который долго не мог понять, почему мы не можем решить такой элементарный вопрос, когда мимо нас по Ангаре туда-сюда флагируют всякие разнокалиберные суда, распсиховался и взял дело в свои руки. Через день к нам причалил буксир, бросивший ради Бори на время

связку своих плотов. На борту его красовалось имя «Бора». Потрясённые происходящим, мы уже не улавливали разницу в правописании последней буквы в именах наших спасителей.

Вскоре Боря уехал домой, оставив нам целый склад продуктов. При первой же ревизии мы обнаружили там защитный мешок муки, с удовольствием вспороли его и начали резвиться. Дрожжи достали у тёти Поли, сухого молока и венгерского конфитюра вполне хватало, и мы всеми своими вкусовыми рецепторами погрузились в счастье. Первую квашню мы на радостях завели в огромном баке, и сил, чтобы истряпать всё сразу, у нас не хватило. Бак оттащили в Кову и оставили на ночь. Утром выяснилось, что крышка сползла под напором прущего теста. Пришлось срочно стряпать, причём часть теста опять осталась в баке. Утром следующего дня ситуация повторилась. Мы взвыли, но сдаваться не хотели. Война с тестом продолжалась дня четыре. Мы отползали от костра, ложились на траву и с усилием переваривали. О раскопе никто и не заикался, всякие побочные дела отошли на второй план, уступив место кухне. Ситуацию осложняло и то, что наши девочки, мечтавшие самовыразиться по полной программе, параллельно стряпали блины и оладьи. Однажды в «штопорской», когда на тарелке оставался последний скрученный в трубочку, сочащийся повидлом блин, Александр Андреевич Пясецкий, очевидно из самых иезуитских побуждений, нетвёрдой рукой ткнул его в лицо Серёжи Степанова. Так как оба в этот момент лежали на полу, у Степанова не было никакой возможности сопротивляться. Единственное, что он мог, — замычать и попробовать укатиться под лавку. К счастью, у Пясецкого не было сил его преследовать, и он так и застыл на животе с трагически вытянутой рукой.

Неделя обжорства неумолимо вела нас к деградации. Мы уже ненавидели этот мешок, проклинали Борю, на кой-то чёрт купившего его после отъезда практики и тем самым сделавшего нас рабами соблазна... К чему бы это привело, сказать трудно, но однажды, в момент некоторого просветления, мы обнаружили у своего костра двух очень грустных «химиков». Как оказалось, дней десять назад кто-то стащил у них мешок муки, который они по доброй ангарской традиции на полдня оставили на берегу без присмотра. Мы решили, что, как благородные люди, обязаны поделиться с ближним, и с облегчением подарили им их собственный мешок, опорожнённый почти наполовину.

Ещё года четыре Боря ездил на Кову в качестве кормильца, избаловав нас до полной неспособности решать какие-либо хозяйственные вопросы самостоятельно. Однажды мы поругались с ним по какому-то поводу. Повод не помню, но аргумент,

приведённый Борей в защиту своего мнения, сразил меня наповал:

— Ты какие деньги в руках держала?

Напрягшись, я поняла, что больше трёхсот рублей в руках у меня никогда не было.

— А я держал в руках сорок семь тысяч!

Если учесть, что это был 1980 год, то это было равнозначно удару ломом.

Будучи официально завхозом, Боря негласно стал первым человеком в экспедиции и лагере после шефа. Практически он не подчинялся никому, и все зависели от него. На него можно было обижаться, с ним можно было ругаться, про него можно было сочинять анекдоты, но он был прямой, причём прямой, честно вкальвающей.

Однажды в «Юном археологе» был «День наоборот». Традиционно вся самая яркая часть выпадала на ночь, когда пионерам надо было изловить и распахать по палаткам взбунтовавшихся вожатых-«скифов». Те чуть ли не после ужина рассосались по укромным местам, и восемьдесят детей с воплями прочёсывали Кову. К утру силы у пионеров заканчивались, и интерес к дальнейшему они просто теряли. «Скифы» же бастовали и ехидно ждали распоряжений новой власти. Новая власть, в свою очередь, засыпала на ходу и ни к чему позитивному уже была не способна. Как всегда, «День наоборот» на этом затухал, и к вечеру всем становилось жутко скучно. Боря, который ночевал при своём имуществе, дел лагерных не знал и не касался. Рано утром он уехал в Болтурино и вернулся только к обеду. Появившись в районе столовой, он с изумлением увидел слоняющихся без дела мальчишек, необранную территорию и какую-то общую бесхозность. На глаза ему попался Колька Посемин, владелец пёстрой футболки с нарисованным автомобилем.

— Эй ты, Пегас-Мерседес, а ну-ка иди сюда! Быстро метлу в руки и пошёл!

Осчастливленный ребёнок, которому снова вернули смысл жизни, кинулся подметать площадку. Через несколько минут толпа детей с энтузиазмом занималась привычным делом. О «Дне наоборот» все благополучно забыли...

## Про кино

Пару раз за сезон на Кову заплывали корреспонденты кежемской районной газеты «Советское Приангарье». Как правило, скромно постояв на бровке раскопа, они продолжали свой путь, конструируя в голове тетрис из закатов-рассветов, натруженных рук и зова предков. Иными же были представители смежной отрасли, прибывавшие на Кову с тяжёлым кофром и отдельно таскаемым штативом «снимать кино». Эти не вытягивали шеи, пытаясь разглядеть за согнутыми спинами процесс «извлечения археологического экспоната». Они врываются в нашу жизнь, как

режиссёры в массовку, рассортировывая нас по цветам футболок, степени загрязнённости штанов и комариной покусанности. Это были «люди с кинокамерой», то есть люди, воспринимающие мир только через объектив, причём с поправкой на освещение, передний и задний планы, фотогеничность главных действующих лиц, а заодно и всех, кто так или иначе в этот кадр влезал. Человек, взявший в руки камеру, немедленно переходил в иное состояние материи, уже не существующая как самостоятельная субстанция, а подразделяясь на собственно объектив и штатив. Откуда-то брались азарт и страсть, стремление запечатлеть придуманную реальность, несмотря на путающиеся под ногами растяжки палаток и полчища мошки, забивающейся в уши, нос и глаз, свободный от окуляра... Человек с кинокамерой существует в другом измерении, ощущая цвет и свет, но не землю под ногами... Вообще, его желательнее на штаны держать, потому что во время съёмки он беззащитен и беспомощен, как шарик на покато́й поверхности...

Так именно в год нашей практики «снимать кино» на Кову приехал пединститутский кинооператор Геннадий Семёнович. Воодушевившись задачей, он заставил нас позировать как на нашем раскопе, на котором мы в тот момент работали, так и на уже законченном, выглаженном и утоптанном, как волейбольная площадка. Девчонки, получившие задачу с увлечением ковырять пустую породу, подошли к делу с таким энтузиазмом, что если бы там на самом деле был культурный слой, то всё его содержимое махом бы оказалось в отвале. Это эффект «жужжания камеры». Я сама пережила это состояние мгновенной трансформации умеренного энтузиазма в трудовой подвиг: схватила совковую лопату и кинулась к куче отвала в центре раскопа. Так изящно поддела землю, развернулась, толкнула и врезала по Коле Базаркину, который в то время зайцем проскакивал мимо, пытаюсь успеть занять последнее вакантное место у этого объекта съёмки. Самое поразительное, что ни я, ни он (!) этого даже не заметили. Он потом долго искал того негодя, который ему расквасил плечо... Мне казалось, что в тот момент я была безумно элегантна. Только года через два мне удалось всё же увидеть эту плёнку. В кадре оказались только мои руки, судорожно перебирающие черенок лопаты, и лицо, на котором было такое выражение, будто меня, сироту казанскую, с уговорами усадили за богато уставленный стол и я теперь не знаю, за какой кусок ухватить...

А год спустя, в августе семьдесят девятого, была у нас такая история. Александр Андреевич Пясецкий, директор «Юного археолога», то ли в Богучанах, то ли в Козинске познакомился со съёмочной группой, работавшей для журнала «Восточная Сибирь». Вероятно, ощутив творческие

перспективы, они пообещали как-нибудь заскочить и снять нечто эпохальное минут на пять экранного времени. И высадились они на Кове именно в тот самый день, когда местные утащили шефа в тайгу за черникой, а мы остались небольшой группкой, предвкушающей столь неожиданно свалившуюся с неба расслабуху... Помню, что у главного были неестественно прямая осанка и очки в золочёной оправе с цепями на дужках. Меня представили как «зама по научной работе». Повела их на мезолитический раскоп. Вот, говорю, это раскоп, вот так лопатой, вот культурный слой, видите — пластиночки... Нет, говорят, не пойдёт, Ангары не видно. Ну и что, говорю. Вон Кова, вон пережат какой красивый, ромашки... Нет, Ангару надо. Мол, пойдём на то-от раскоп, то есть на ангарскую террасу. Так мы же, говорю, его уже закончили, он же пустой. Нет, говорят, всё равно пойдём. Пошли...

По дороге с раскопа на раскоп, в лагере, они отсняли одну сцену, где Пясецкий с интеллектуальным видом должен был доставать из пакетиков кусочки керамики и показывать их, объясняя, «юной практикантке». Эту роль играла Наташа Кучерук. Как я уже знала, Пясецкий в керамике разбирался чуть лучше, чем я, — во всяком случае, с шифером её не путал. Он доставал кусочки, пихал их Наташке под нос и назидательно декламировал: — Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...

Та внимала с видом подавившейся вороны и только периодически сглатывала.

Ладно, приходим мы на ангарский раскоп. Вот, говорю, тут же нет ничего. Очень хорошо, говорят, будем снимать. Как снимать? Что снимать-то?! Деточка, говорят, ты что, не знаешь, как это делается? Вы сами закапываете и сами откапываете. Когда откапываете, тогда мы и снимаем. Естественно, что закапываете и откапываете что-нибудь этакое... И вообще, ты думаешь, мы Окладникова иначе снимаем?... Про Окладникова я тогда знала, что это бо-ольшой академик и что, когда он приехал к кому-то с инспекторской проверкой, ему подбросили скребок с надписью: «Не лазь по отвалам, с...!» А может, и не ему... В общем, убедили. А что зарывать-то? Надо, говорят, что-нибудь такое, чтобы каждый зритель понял, что это ого! А день-два назад шеф с Колей Авдеенко ездили на Толстый Мыс и среди кучи всяких вещей привезли такой шикарный наконечник копья, то ли поздненеолитический, то ли раннебронзовый. Показываю. Вот это и надо! Само то! Каждый дурак поймёт! Только как же, говорю, у нас же здесь палеолит? Но им уже надоело мне объяснять. Чтобы отвягаться, назначили меня главной кинозвездой.

Короче, мизансцена такая: я сижу с ножом и рою, за моей спиной Соловьянов и Авдеенко с лопатами, на бровке Галка со Светкой фоном стоят с лопатами, как стражники с алебардами.

Ладно, начали... Сiju, рою... Вдохновенно так. Парни за мной землю откидывают, подальше стараются, чтобы земля с лопаты красиво летела... Сняли. Ладно, говорят, теперь *давай!* Углубляю нож, нажимаю — ничего нет. Удивилась ещё так... Ещё поглубже копнула — опять пусто! Я уже испугалась. Режиссёр кричит:

— Да хватит уже, находи!

Я парням шепчу:  
— Нету!

Как же нету?! Ведь был же! Был, конечно, сама закапывала, сюда же... Они швырнули лопаты, бросились мне помогать. Девчонки тоже с бровки попрыгали, к нам подскочили, пихаться начали... Про кино это уже забыли. Метров десять квадратных руками разгребли! Режиссёр хихикает:

— Снимай, Петя, энтузиазм-то какой!

Какой энтузиазм?! Я уже чуть не реву! Получается, что мы его выкинули. А высота террасы — четырнадцать метров! То есть всё, это конец! Стоим так впятером над отвалом, как над братской могилой... И вдруг Соловьянов, уже ни на что не надеясь, отошёл к краю раскопа: одна лопата оказалась полупустой и он не стал чего-то пижонить, просто откинул в сторону. И именно в этой горке земли, которая чудом не улетела в отвал, и был наш наконецник... Больше я ничего не помню. Какая там съёмка?! Мы же чуть не рехнулись!

Рассказывала я шефу всё это вечером у порога его домика. На самом кульминационном моменте, когда я произнесла: «И вот — нету!» — он начал медленно сползать по косяку... Так что концовка была несколько скомкана... А в готовом виде я фильма так и не видела.

## Про мамонта-носорога, альтернативную историю и специального корреспондента

Эта история произошла 12 июля 1981 года, ровно за два дня до взятия Бастилии, и тем самым на несколько лет затмила традиционный для всех студентов-историков праздник непослушания.

Кстати, если какой-нибудь любитель архивной периодики откопает в фондах краевой библиотеки номер «Красноярского рабочего» со статьёй, посвящённой этим событиям, то пусть не хлопает в ладоши, уверенный, что именно он теперь знает, как всё было на самом деле. Не верьте, грядущие исследователи наших суровых буден, романтикам-корреспондентам. Даже Куликовскую битву московские и тверские летописцы описывали по-разному. Впрочем, тверичей там и не было... даже на бровке не стояли.

«Плотный серый туман окутывал прибрежные сопки. Потом подул лёгкий ветерок, и туман стал рассеиваться. Николай Иванович направился к раскопу посмотреть, скоро ли подсохнет земля...

Окинув взглядом выступивший сквозь редкую завесу тумана противоположный берег реки, Николай Иванович подумал, что по всем приметам погода должна, наконец, установиться. В это время он заметил, что от раскопа навстречу ему бежит выпускница института Лена Акимова.

— Николай Иванович, находка! — запыхавшись, сообщила она.

В руках у девушки были два бесформенных обломка кости. Он торопливо осмотрел их, стал осторожно сопоставлять обе половинки и сказал, не скрывая волнения:

— Да ведь это изображение мамонта, ну конечно, мамонта!..»

Очень красиво и романтично! Только чего это она одна делала в мокром раскопе, да ещё в то время, когда начальник обозревает туманные окрестности? Вообще-то Дроздов не выходил в то утро щупать землю, а замотанный хозяйственными делами, носился между лагерем и кладовой, улавливая на бегу нескладывающийся дуэт того самого Бори о расчёте за тушёнку и Кохи-моториста — о разболтавшемся по винтам «Вихре-30». А Лена Акимова (то есть я) не бежала к нему навстречу из раскопа с запыхавшимся возгласом: «Находка!» — а, сжигаемая тоской и стыдом, брела туда, куда несли ноги. Это ещё хорошо, что ноги в подобной ситуации несут туда, куда и надо... Кстати, слово «находка» в экспедиционном лексиконе использовалось редко и, как правило, во множественном числе. Так, если практиканты и школьники в начале сезона ограничивались сдавленным «ой, что-то есть», то в конце сезона они уже проговаривали по слогам «ар-те-факт» с максимальной степенью небрежной снисходительности. «Старики» (то есть второй-четвёртый курс) изъяснялись уже попросту: «бифас», «проколка», «нуклеус» или «ни черта не понимаю, наверное, опять долотовидное». Да нет, конечно, такие детали должны быть неинтересны массовому читателю, тем более что какая, собственно, связь между романтикой и тушёнкой?..

В общем, было всё совсем не так. Я сейчас попробую...

Когда две недели подряд всю жарит солнце и календарные выходные безлико сливаются с остальными днями недели, тогда мечта о «маленьком проливном дожде» становится навязчивой тоской. Именно тогда перед деревянным идолом Васей падали на колени стонущие толпы нерадивых первокурсников. Начальники раскопов прибирались к Васе под прикрытием сумерек и, озираясь, шептали свои персональные, но такие близкие общественным интересам молитвы.

Идол Вася работал честно, но... с размахом, и вместо одного желанного выходного наступала целая вечность из сырых, холодных, тягучих, сонных дней. Со дна рюкзаков добывались колоды



карт и припрятанные друг от друга потрёпанные «Роман-газеты», а гитара перекочёвывала от костра в мокрые палатки...

Я терпела ровно два дня. На третий, натянув непросохшие сапоги, украдкой, задами, отправилась к раскопу. Дождь закончился, но земля была разбухшей, тяжёлой, на сапоги налипали целые колоши грязи. Ковинский суглинок вообще был своеобразной точкой отсчёта, как температура замерзания воды по шкале Цельсия. При раскопках или разведках других стоянок непременно отмечалось: «Не то что на Кове—песочек!»—или: «Не грунт, а сплошной щебень, лучше уж на Кове». При засухе ковинский суглинок можно было крушить ломом, после дождя на лопату налипал груз, достойный носилок.

Копать сейчас было нельзя, и я знала это лучше многих, да и никаких глобальных планов у меня тогда не было. Ну, просто... Тем более что в последний день перед дождём находок в этой промоине уже почти не было: пара отщепов, пара косточек... но этот проклятый участок задерживал всю работу. Так что, волоча за разбухший черенок лопату и воровато оглядываясь, я полезла в раскоп.

А там действительно ничего не было. Уже пошёл галечник... Ещё тогда, перед дождём, можно было бы всё выкинуть лопатой. Теоретически... Вот здесь необходимо небольшое отступление в сторону. Первые годы работы на Кове мы по пальцам считали палеолитические орудия и мечтали довести их количество хотя бы до двух десятков. Но когда в прошлом году они полезли из раскопа как маслята после дождя и шеф специально ездил в Болтурино вымалывать ящики и обёрточную бумагу, на смену мечте сбывшейся, не дав передохнуть, пришла другая—«венера». Женские фигурки из бивня мамонта были давным-давно известны на двух знаменитейших памятниках сибирского палеолита—Мальтэ и Бурети, и поэтому по мере увеличения числа набитых ящиков нас начал заедать комплекс неполноценности: а почему им? а почему не нам? а чем, собственно говоря, Кова хуже?! Мечта о «венере» была чуть слабее мечты о дожде во время засухи, но несравнимо более устойчива и постоянна. Поэтому-то каждый неразмятый комок земли, выброшенный в отвал, казался смертным приговором желанной «венере»...

— А ты что здесь делаешь?

У бровки, не боясь замочить штаны, уселся «пионер Дима». Он был не из «Юного археолога», а являлся бесплатным приложением к студенческой экспедиции. Его старший брат был дорог шефу, так как именно здесь, на Кове, происходило его успешное перевоспитание. Процесс же перевоспитания Димы затягивался, и студенты периодически теряли терпение.

— Ты что делаешь-то?—повторил он.

Я тогда находилась в том зрелом двадцатилетнем возрасте (да ещё с дипломом учителя средней школы на руках), когда обращение на «ты» этого толстого ребёнка с шестиклассным образованием уже несколько смущало. Но так как даже себе самой я в этом не сознавалась, то чувствовала лишь какое-то смутное раздражение в присутствии «пионера Димы».

— Да вот, подчищаю маленько...

Дима что-то заговорил. Самое поразительное, что уже через два часа я не могла вспомнить ни слова из его пространного и даже, кажется, логичного монолога. Лишь когда он, отчаявшись вызвать на беседу, поднялся и, сделав попытку отряхнуть штаны, сказал:

— Ну, я пошёл,—в моей голове равнодушно скользнула мысль: «Посидел бы ещё немного, а то найду „венеру“—кто в лагерь побежит шефа звать?»

Вот так! Вот так и рождаются легенды о предчувствиях! Фраза традиционная, в разных вариантах повторяемая чуть ли не ежедневно: «Не уноси нивелир—сейчас „венеру“ найду», «Не топчись здесь—„венеру“ раздавишь»,—в данный момент оказалась почти пророчеством.

...Под лопатой страшно скрябнуло... Обломки обработанного бивня, тёмно-коричневые, с явными, несмотря на замазы глины на поверхности, следами резца... Ещё в школе нам втолковывали, что человек мыслит словами, а не образами. Может, оно в нормальной жизни и так, но сейчас в сознании было только размытое ощущение *образа* скульптуры. Скульптуры вообще: женщины ли, птицы, зверя... Всего четыре фрагмента—они легко легли на ладонь. И, наверное, первая мысль, облечённая в слова, была: «Что я наделала?!» В глаза бил свежий излом на поверхности бивня: «Что я наделала?!» Выбравшись из раскопа и держа на вздрагивающей ладони обломки, я двинулась прямо, не видя тропки, перешагивая через брёвна, кочки и канавки, путаясь ногами в мокрой траве...

Как там у Даррелла? Первыми словами Колумба, ступившего на неведомую землю, были «Ах, жоба мой, смотрите—ягуар!» Моими первыми словами были:

— Николай Иванович, только не ругайтесь, пожалуйста...

Дроздов побледнел, шагнул вперёд и, коснувшись пальцами обломков, поднял на меня изумлённые глаза.

— Елена Васильевна... Ты... Пойдём-ка сядем...

Вот если бы именно тогда где-нибудь неподалёку, высунув голову из палатки, находился наш специальный корреспондент! Как, интересно, описал бы он ту мелкую рысь, которой оба его главных персонажа ринулись к грубо сколоченному обеденному столу? Как тряслись их руки, складывающие фрагменты, как эта хрупкая конструкция делала в дрожащих пальцах начальника

экспедиции повороты вокруг своей оси на девяносто и сто восемьдесят градусов, пока не осталась в положении «ногами вниз!»

— Вот так?.. Нет, вот так вот? Посмотри! Елена Васильевна, неужели это медведь? Слушай, нет, вот так... Ленка, это же мамонт... Да ты посмотри: голова, горб... мамонт!

Осознание свершившегося требовало выхода: позарез нужна была публика— пусть вытщенные из сырых палаток, пусть закутанные в куртки и спальные, но оружие и ликующие свидетели триумфа. Однако когда Дроздов завопил во всю силу голосовых связок:

— Подъём! Все сюда!— и что-то ещё, плохо воспроизводимое на бумаге, из палаток высунулось только несколько носов.

Никто не хотел быть одураченным. Некоторым уже приходилось отыскивать в палеолите бронзовые блёсны или таскать ведрами «солифлюкцию». Однако ощущение, что чем чёрт не шутит, потихоньку брало верх. Упалаток стали вздуваться бока, вслед за носами из-под пологов появлялись разнокалиберные ноги, вслепую нащупывающие сапоги.

В это же время из-за откоса выплыли не по погоде обнажённые до плавок заместитель редактора краевой молодёжной газеты Евгений Латышев и Владимир Макулов, одна из очередных надежд сибирской археологии. О, они уж не дадут себя обмануть! Если начальство ещё играет в подобные игры, желая расшевелить раскисших практикантов, то лично их будоражить и разогреть не надо. Бросив понимающе-сниходительный взгляд на скромные обломки костей, они, плавно восставив свою траекторию, прошествовали мимо.

Но энтузиазм вождя всё же передался массам. Стол и скамейки пробовались на прочность: один квадратный метр выдерживал шестерых.

— Стой, ребята, не налегай. Подождите... А вот это... Лена, дай сюда! Это на что похоже?

— Бегемот...

— Какой бегемот?! Что б ты понимал! Это носорог! Ну смотрите...

— А рог где?

— Елена Васильевна обломала... Видите— слов...

— Ну Николай Иванович...

— Сегодня же по круплицам всю землю перетрём! Ребята, это же великое открытие! Ну, Ленка! Ставь ящик сгущёнки! Все слышали?!

— Кто-то ящик коньяка обещал...

— А-а! Коньяк хочешь?! Коньяк— за погребение.

Да нет, братцы, вы понимаете?! Мамонт и носорог! На Кове!.. Братцы, качать Акимову!

— Качать!!!!

— Да вы что?! Ребята...

Если вы никогда не летали, то можем поделиться опытом: главное— не сопротивляться и не проявлять никакой инициативы. Только когда услышите снизу: «А теперь разбегаемся! Теперь

разбегаемся!»— надо на всякий случай слегка напрячь ноги. И за свой вес не беспокойтесь: если уж подкинули, то, как правило, поймают.

И что же было дальше? В кино обычно в следующем кадре поднимаются бокалы, искрится и шипит шампанское, произносятся тосты скромными тружениками и маститыми академиками. Нет, бокалы не поднимались, поднялась только эмалированная кружка с водой, чтобы Николай Иванович мог запить валерьянку. Перетряхнув содержимое всех аптек, он сидел в своём домике и, постанывая от полноты чувств, с умилением чистил ваткой обрётённый зверинец. Я же, немного ошалев от событий, на время оставила свою сакраментальную фразу: «Что я наделала?!»— и была вполне счастлива. Бригада «подкидышей» из «Юного археолога» держала в осаде шефовский домик, упрасывая показать «хоть на секундочку»... А уж потом, потом, попозже, о мамонте и носороге передали по краевому радио, поместили сообщения в газетах «Советское Приангарье», «Красноярский рабочий» и даже в «Правде», а уж оттуда редакция журнала «Преподавание истории в школе» перепечатала информацию для своего раздела «Исторические новости».

А ещё через какое-то время учитель истории сельской школы в далёком Бирилюском районе стояла в помещении телефонной станции и, жвав обеими руками выделенные ради такого дела наушники, слушала глухой ликующий голос: — Ленка! Дураки же мы! Ты понимаешь, мамонт и носорог стали одним мамонтом! Ничего не понимаешь?.. Да ты представляешь, пошёл в Новосибирске в институте фотографировать, а фотограф крутил, крутил, чтобы расположить поудобнее, а потом взял и составил их! Носорог-то оказался обратной стороной мамонта! Мамонт-то *целый был!* Слышишь? Целый!

Вот и вся история. Кстати, в столе у меня на протяжении долгих лет хранилась банка венгерского абрикосового джема, последняя из тех десяти, что были вручены вместо дефицитной сгущёнки. А опорожнена она была только 31 декабря 1991 года, когда просто не из чего было делать новогодний пирог. Столь длительная выдержка на вкусовых качествах не отразилась...

## Тост (и это последнее)

...Нет, не надо меня перебивать и тянуть за штаны! Я всё равно закончу свою мысль... Я хочу поднять мой бокал за *ней!*.. Нет, не за любовь, и не за одну из присутствующих здесь дам, и даже не за науку... Я хочу поднять его за Кову... Я хочу поднять его за это место под солнцем, которое пустило нас, которое выдержало нас, которое так долго терпело нас с равнодушием той черепахи, чья основная функция— тащить на себе земной бутерброд с прослойкой из трёх китов.

Вспомните!.. То есть вспомните, когда вы увидели её впервые! Эта солнечная полоска берега, казалось бы, перекрывающая Ангару,— знак того, что дорога окончена, что это как раз *то самое* и искать больше нечего! А эти горы из плюша тайги— то изумрудные, то малиновые, то медно-золотые в отсветах заката! А эта белая прозрачная пена перекатов, оглушающих звуками другой жизни, куда мы вторглись в кедах и накомарниках! Да, мы! Мы, тупые и глухие горожане, со своими представлениями о свете, звуке, тишине, о нашей роли в этом мире и о нашем праве устанавливать здесь свои законы. Мы пришли сюда отнимать. Мы не спрашивали её согласия— камни и кости в обмен на известность, на строчку в учебниках. Мы лезли в неё с лопатами, уверенные, что делаем великое дело; долбили шурфы через каждые десять метров в наивном убеждении, что так и делается наука. А она! Она снисходительно поглядывала на наше шебуршание внизу и, забавляясь, подкидывала нам время от времени какую-нибудь мелочь, на которую мы кидались как голодные. Дрожащими руками мы стирали глину с подброшенных нам обломков и умилялись им. Мы видели наконечники копий в сиреневых сколах кварцита, изображения женщин в грифельных

костях лошади, мы верили, что вот это— с выемкой и выступом— и есть *он*— палеолит Ковы, и всё это— раскопы, отвалы, кубометры и тонны... всё это ради него... И вот, лениво порезвившись с нами несколько лет, она вдруг выкинула нам то, что мы искали. И не щепоткой, не из прохудившегося кошелька, а широко, от души, с размахом! Потрясённые, мы захлёбывались, шалели, сбивались со счёта, пакуя свои сокровища по бумажным кулькам. Ведь мы поверили, что приручили её, что она признала нас, и не понимали... Мы не понимали того, что она смотрела на нас, как та золотая антилопа из какой-то восточной сказки смотрела на обожравшихся богачей, тонувших в её золоте. А мы тонули... Мало, мало было найти, откопать, завернуть! Надо было объяснить...

А потом всё закончилось. Она просто потеряла к нам интерес. А мы остались сидеть на сокровищах, как бездарный правнучек, получивший в наследство Оружейную палату...

Вот и всё... Можно молча сесть за свой стол с разбросанными бумагами и остатками холодного чая в кружке. Придуманные лица и голоса таяли где-то за чёрным оконным стеклом. Наверное, там уже пили за любовь...